

ДЕЖАВЮ В ГАЛИЦИИ

Очерк

Игорь КЛЕХ

Признаюсь, странно мне было после четырехлетнего перерыва в отношениях подлетать ко Львову на допотопном Ан-24Б. Словно в аксонометрической проекции, проползали подо мной знакомые планы улиц, по которым столько хожено, и обветшавшие, как и я сам, здания, в которых столько было прожито, говорено, люблено, выпито. Сама собой напрашивалась аналогия с возвращением души в места... но я ее старательно отгонял — жив еще курилка. Я летел сюда без предубеждений, обид и страсти, с готовностью убедиться, что деньги начинают здесь работать — город, не мытьем так катаньем, меняется в лучшую сторону. Но об этом в конце.

Меня встретили и отвезли в Трускавец, где поселили в частных гостиницах участников III Международного фестиваля Бруно Шульца в Дрогобыче. Этот курорт минеральных вод переживает не лучшие, но и не худшие времена. Он интенсивно застраивается, но, к сожалению, внешне эффектными бетонными коробками, напрочь уничтожающими присущий ему налет карпатского ретро. Трускавец и Дрогобыч показались мне городами-парками — изумительно живописные кроны старых деревьев и разнообразие пород, воздух такой, что его можно пить, особенно по ночам. А вот все, что ниже, существенно хуже, с тротуаров и дорог начиная. И даже эти милые компактные гостиницы с неплохой кухней немножко походили на декорацию, поспешную имитацию. Вроде в них уже все есть, что нужно, но еще не все работает, а о чем-то просто позабыли или не подумали.

Есть неотразимое обаяние бренда. Мне доводилось слышать не раз, что вода в Сходнице неподалеку на порядок целебнее истощенной трускавецкой, и туда уже потянулись гости из Западной Европы. Я и сам пивал такую в скальном Урыче из бьющего прямо на огороде родника. Но мы по-прежнему предпочитаем межвоенный польский и бывший всесоюзный курорт — сердцу не прикажешь. Была такая киномелодрама «Кто поедет в Трускавец?». А кто поедет в древний Дрогобыч — захиревший город нефтебаронов начала XX века, кабы не живший и погибший в нем писатель и художник Бруно Шульц, нанесший этот город на литературную карту мира?

Вот и съехались с нескольких континентов переводчики, художники, профессура, театральные коллективы, музыканты — будто паломники. Событие, достойное ленты новостей мировых информационных агентств петитом. Кто-то в Дрогобыче упорно не хочет понимать, что Шульц — оправдание Дрогобыча перед Богом. Тем значительнее заслуга устроителей Фестиваля, и я мысленно снимаю перед ними всеми с почтением шляпу — какие умницы и подвижники, умеющие заставить конъюнктуру институций, организаций и спонсоров служить благому делу!

Есть скрытое соперничество поляков с израильтянами, чьим писателем был Шульц. С другими писателями, может быть, и часто бывает иначе, но Шульц в первую голову является дрогобычским писателем, как Кафка — пражским. Также существует некое подобие всемирной эстетической секты «шульцоидов» (термин, введенный в оборот вашим покорным слугой). Шульц был не желавшим повзрослеть «гением места» местечек и захолуствий, приверженцем метафизической всемирной провинции, остановившегося времени, — а таких людей во всех странах не так уж мало. В



своем выступлении я сравнил его с Шагалом, который не пожелал покинуть родной Витебск (не знаю, съезжаются ли поклонники этого российско-французского еврейского художника в воспетый и оставленный им белорусский город). Недавно почил в бозе главный учредитель идолопоклоннического культа Шульца — Ежи Фицовский (несомненные заслуги и извинительные грехи которого безмерны). Некогда он насмерть воевал с умнейшим критиком Артуром Сандауэром, который имел счастье знать Шульца лично. Примерно так, как если бы апостол Павел ополчился на евангелистов. Все это позади. В Фестивале принимал участие профессор краковского Ягеллонского университета Ежи Яжембский, самый заметный представитель новой генерации, успешно возвращающий на землю и с головы на ноги шульцологию — науку, посвященную творчеству одного человека (затмившего ныне для читателей не только своих друзей-соперников Виткацы с Гомбровичем, но самого Мицкевича и чуть ли не Кафку). Шульц сделался одной из ключевых фигур центральноевропейского дискурса, а трагическая гибель поставила его вне конкуренции. Но вернусь-ка и я на землю.

Я не пишу здесь отчета о Фестивале — фестиваль как фестиваль. Приехали талантливые люди, приехали скучные люди, приехали люди амбициозные и недооцененные. Кого-то я ожидал здесь встретить. Андруховича, уже не первый год живущего два месяца в Ивано-Франковске и десять месяцев в Берлине на престижных стипендиях. От него узнал, что Издрик вернулся восвояси, в Калуш, отчего меня передернуло, но также, что он вернулся к «лабухам» и изданию журнала «Четвер(г)», что немного успокоило. Встретил здесь похожего на Джереми из мультфильма «Yellow Submarine» Павлышина — с рюкзаком, ноутбуком и радиотелефоном в ушной раковине, — изгнанного из «Львовской газеты» и трудящегося теперь на кого-то из украинских политиков. Встретил похожего на гнома с прорезавшимся баском местного журналиста Леню Гольберга и познакомился с его братом Яковом, восстанавливающим ныне грандиозную синагогу в Дрогобыче — вторую или третью по размеру в Европе после венской и будапештской. Обоим некто влиятельный настоятельно советовал не вникать в историю с похищением фресок Шульца израильянами, наделавшую в свое время много шума. Совершенно неожиданно встретил здесь также старых приятелей и знакомых по Львову. Подселенный ко мне в номер итальянец до смешного походил на грустного жениха-дылду из старой кинокомедии «Не промахнись, Асунта!». Вообще, во всей моей поездке было многовато дежавю. Мне казалось, что я любил некогда лучший в мире польский театр благодаря Тадеушу Кантору, но на здешние гастрольные представления на подмостках местного драмтеатра большей частью тяжело было смотреть. Роскошный киноперформанс львовянина Влодка Кауфмана во дворе ратуши производил сильное впечатление, если не знать гения сюрреалистической мультипликации пражанина Яна Шванкмайера (как оказалось, кроме одного-двух участников, не говоря о дрогобычанах, его никто и не знал). Кстати, не приехали на фестиваль братья Квай, американские эпигоны Шванкмайера, осевшие в Лондоне и снявшие претенциозный, скучнейший мультфильм по мотивам Бруно Шульца.

Из того, что покорило: украденная цыганами и сданная в лом мемориальная бронзовая доска с тротуара на месте убийства Шульца. Ничего удивительного: в Трускавце перед бюветом с минеральными водами у парящей над фонтаном бронзовой девушки кто-то оттяпал руку по локоть, остался торчать прут арматуры, как загнутый коготь, — ужасик для отдыхающих. Самое неприятное, что не раз и не два я становился свидетелем прорывающейся недоброжелательности местного населения к холеным заезжим «панам» (когда мы тут едва концы с концами сводим). Понять можно, но такие территории и регионы не могут иметь никакой туристической перспективы. В одном дрогобычском кафе отказались обслужить поляков, не говорящих по-украински (дрогобычане, вы что, «с глзду зыхалы»?), кто-то из поляков пошел жаловаться милиционерам, а Леня (как все здесь, он еще «и немножко шьет») сказал, что больше не будет водить туда туристов. Грустно все это, пыльно, неудобно, бедно. Запущенные виллы и палаццо нуворишей столетней давности. Некоторые из них сегодня выкупаются новыми хозяевами и превращаются в образцово-показательную игрушку — но тем злее выглядит неухоженность общественного пространства, города в целом.

То же могу сказать о Львове. Доступность автомашин превратила Львов в сплошной уличный затор — вот и все, что изменилось за прошедшие четыре года, на мой поверхностный взгляд. Я сошел вниз Городецкой и дальше пошел пешком, чуть не разбил колесный чемодан на тротуарной плитке. Прошел через парк Костюшко, где выпивал с друзьями в студенчестве, где возилась в песочнице моя старшая дочка, а я тем временем сочетал слова, сидя на скамье и греясь на солнце. Кирпичной крошки его аллеи не видели за все годы незалежности, так же как беседка с колоннами — извести и краски. А ведь при поляках эти тротуары мылись швабрами с мылом, при Советах хотя бы поливались, и белок в парках было немерено, как в Америке. Куда подевались зверьки?

Львовяне, говорю без дураков: ваши парки, и особенно Стрыйский, — это национальное достояние, лучших ландшафтных парков я не видел по сю пору нигде! В 1940 году из Москвы прислали целую делегацию градостроителей

изучать львовский опыт (бесполезно, не в коня корм), уже в «перестройку» японский сад в московском Ботаническом саду проектировали и обустривали вместе с японскими специалистами львовские лесотехники (вышла забавная игрушка, и только).

Я слышал во Львове о местной «Рублевке» за Глиной Наварией; у своего друга в витражной мастерской «листал» в компьютере интерьеры нуворишей; продавщица замечательных колбас на рынке убеждала меня: «Видели бы вы, какие дома мы строим, на каких машинах ездим!» Но все это ровным счетом ничего не значит — потому что, когда каждый гребет только под себя, деньги не работают. Уже в московской муниципальной Украинской библиотеке (есть и такая) у меня допытывались по возвращении: деньги же есть, появились, как же это так — «не работают»?! Откройте просто и почитайте труд Адама Смита «О происхождении и причинах богатства народов». Если человек диковат и не способен договариваться с себе подобными о совместных действиях, ему суждено быть бедным или, уж во всяком случае, жить в бедной стране, какие бы средства им при этом ни прожигались. В этом причина, и не случайно основоположник политэкономии начинал с сочинений по этике (а мы будто вчера родились, смеялись, что зарплата у нас выдается унитазами и детскими игрушками, — да триста лет назад при Адаме Смите в Англии творилось то же самое! Но только триста лет назад).

Вот и не удержался от поучений. Но в российской провинции дела обстоят, может, еще хуже! Но дело не в этом — я не привык относиться как к провинции к своему бывшему городу (а он принадлежал мне и моим друзьям, без различия национальностей, по праву молодости). Теперь вот привыкаю. Но это уже и не мое дело. Очередное поколение сходит со сцены, и каждое обречено умирать не в той стране и даже не в том городе, где с ним все происходило. Вспомните Бруно Шульца или хотя бы Уинстона Черчилля.

Я рассказал только то, что видел, чувствую, думаю. Остальное тоже уже не мое дело. Добавлю, что самое одиозное я опустил — всякое везде бывает.

Последнее дежавю приключилось во Львовском аэропорту, когда-то описанном мной в одном из рассказов. Здесь царил покой и запустение. Теперь это заведение для немногих состоятельных и неторопливых «белых людей», в число которых я попал почти по недоразумению. Карикатурный дьюти-фри в зале бывшего ресторана на втором этаже, где разрешено курить после карикатурного досмотра, попивая кофе с «Мартелем» и с недоверием припоминая былые шумные застолья здесь же. Еще немного, и я въехал бы в титульную новеллу второй книги Шульца «Санаторий для усопших», но пассажиров на Москву вовремя пригласили пройти на посадку. ■

Чехи и война

Эссе

Игорь КЛЕХ

ТРУДНО БЫТЬ ЧЕХОМ

На протяжении последних пяти столетий отношения чехов с большим миром преимущественно страдательные — они не творят больше Историю, а ее претерпевают. Об этом, каждый на свой лад, говорят три значительнейших писателя, порожденных этой землей, — Кафка, Гашек и Чапек. И не имеет значения, что Кафка являлся австро-венгерским сефардом (западным евреем), писавшим загадочные притчи на «хох дойче» («высоком немецком» — немецком литературном языке). В первую очередь, он был и остается пражанином. Как и куда более простонародный автор комического эпоса о бравом солдате Швейке, который кое-кто из чешских патриотов возненавидел: что это за эпос, где героем является полуидиот и дезертир?! Чапек был удачливее, что называется, «позитивнее», и поэтому имел прижизненную славу, какая Кафке с Гашеком не снилась. Но не зря еще два тысячелетия назад Платон заметил, что творения здравомысленных затмятся творениями неистовых, что и произошло с книгами Чапека. Потому что трудно быть великим чешским писателем.

Начнем издалека, с экскурса в историю.

В уютной долине, окруженной невысокими горами, в междуречье, на североморско-средиземноморском водоразделе, западная ветвь славян обосновалась в VI веке н. э., вытеснив отсюда или впитав кельтское племя бойев (поэтому римляне называли этот край Богемией). Чешская Богемия то входила в состав Великой Моравии, с которой просветители Кирилл и Мефодий начали свою миссию, то наоборот. В драматическом круговороте средневековой истории этими территориями правили попеременно могучие династии Пржемысловичей, Ягеллонов, Люксембургов, Габсбургов, пока эти последние не утвердились здесь окончательно, на чем самостоятельная чешская история закончилась на много столетий. Дело в том, что здесь сходились в своем вращении гигантские цивилизационные жернова славянского и германского миров, перемалывая судьбы людей и народов. Будучи народом немногочисленным и простодушным, чехи за сто лет до Реформации оказались вовлечены в религиозные войны с католическим Римом и германскими императорами — так называемые «гуситские войны». После создания национальной и не вполне ортодоксальной чешской церкви, вероломного сожжения на костре Яна Гуса и отлучения от церкви всего чешского народа на соборе в Констанце чехи восстали. Они выбросили из окна пражской ратуши немецкого бургомистра — и в ответ получили крестовый поход. Рыцарей-крестоносцев били раз за разом, покуда умеренная часть чехов («чашники») не одолела повстанцев-«таборитов» и не договорилась с Римом и германской Священной Римской империей о заключении мира на почетных условиях. Двести лет спустя за «наезд» на свою протестантскую веру и права чехам вновь пришлось выбрасывать немцев из окна (такая казнь звалась «дефенестрацией», от немецкого Fenster — «окно»). В





пражском замке Градчаны габсбургских наместников сбросили на кучу навоза, что выглядело более гуманно — или трусовато, это как посмотреть. Именно это трагикомическое событие послужило поводом к началу в 1618 году общеевропейской Тридцатилетней войны, в которой германские государства потеряли треть населения, а чехи — всю свою аристократию, превратившись, по существу в обезглавленный и самый «онемеченный» из славянских народов. Как пишет историк Норман Дэвис в своей тысячестраничной «Истории Европы»: «Ко времени Моцарта чехи преимущественно были низведены на уровень крестьянской нации, не имевшей лидеров».

Безраздельно завладевшие Чехией Габсбурги оказались не худшими и просвещенными господами. Под девизом: «Пусть сильные развязывают войны. Ты, удачливая Австрия, женись» этой династии удалось создать уникальную славяно-германскую, многонациональную, веротерпимую и какое-то время процветающую империю. Ее называли еще «славянской империей с немецким фасадом», а Меттерних говорил в шутку, что Азия начинается сразу за оградой его венского сада. Австро-венгерский государственный гимн с середины XIX века исполнялся на семнадцати языках, включая идиш, а три привилегированные нации — австрийские немцы, венгры и поляки — осуществляли власть над остальными, более или менее обездоленными и законопослушными народами. Один из премьер-министров Австро-Венгрии признавался: «Моя политика состоит в том, чтобы держать все национальности монархии в состоянии регулируемой неудовлетворенности». Покуда в конце Первой мировой войны накопившиеся взаимные претензии, неприязнь и ненависть осатаневших наций не разорвали в клочья лоскутную шкуру Австро-Венгерской империи. В результате на политической карте Европы возникли Чехословакия, Польша и ряд других государств.

Чехи были обязаны этим в первую очередь своей выращенной в австрийских университетах интеллигенции, возглавившей национальное возрождение, — великим композиторам, общественным деятелям, историкам и филологам, иногда готовым идти на подлог и мистификацию с благой целью, что не порицалось и в начале XIX века даже было в моде. В России также некоторые сомневались в подлинности «Слова о полку Игореве», а современник Карамзина и Пушкина адмирал Шишков всерьез предлагал заменить все иноязычные слова самодельными («калоши» — «мок-роступами» и т. п.). Чехам к концу XIX века последнее почти удалось, у них даже «театр» зовется с тех пор на собственный лад — «дивадло». Внес свою лепту в достижение чехами независимости и «бравый солдат Швейк» — собирательный образ, отразивший нежелание чехов защищать империю, в которой они были низведены до положения прислуги и людей второго сорта.

В независимой Чехословакии Карел Чапек (1890 — 1938) стал одним из лидеров нации и близким другом первого чешского президента Томаша Масарика, самого умного и интеллигентного европейского деятеля своего времени.

Но что делать, когда ум есть, а воли нет, когда у подавляющей части населения улетучились навык и готовность воевать за собственную свободу, без чего сама свобода становится эфемерной? Поэтому Запад вскоре после кончины Масарика так легко сдал Чехию Гитлеру на переговорах в Мюнхене. И чешская делегация, дожидавшаяся в соседней комнате решения участи своей страны, послушно приняла ультиматум. А вот Чапек не пережил такого позора и крушения надежд, предпочтя умереть на пороге немецкой оккупации. Пройдет тридцать лет, и пражский студент Ян Палах решится на самоожжение столько же из протеста, сколько из стыда. Должны ли были чехи в том и другом случае взяться за оружие и погибнуть? Праздный вопрос. Их немного, и им виднее.

Долго считалось, что книга Карела Чапека «Война с саламандрами» является сатирическим антифашистским памфлетом и призывает деятельно сопротивляться нависшей над миром «коричневой чуме». Но в таком случае очень многое в ней потеряло бы актуальность, а этого не произошло.

В чем же фокус?

КТО ТАКИЕ САЛАМАНДРЫ? ОТКУДА ОНИ БЕРУТСЯ?

Многие ли видели саламандру или держали ее в руках? Медлительная пятнистая ящерица, обожающая сырость, но в мифологии античности и средневековой демонологии этому хвостатому земноводному приписывалась власть над стихией огня. Саламандры являлись его персонификацией, как русалки и нимфы — олицетворяли душу воды, гномы и тролли — земных недр, а силфы и эльфы — воздуха и ветра.

И это первый пласт чапековского образа саламандр: обитающие в языках пламени, извивающиеся саламандры способны превратить пламя в пожар, который погубит и их самих.

Вторая ассоциация — это нелюди, существа, находящиеся на дочеловеческой стадии развития. А ведь каждый из нас на протяжении нескольких недель являлся кем-то вроде бесхвостой ящерицы в материнском чреве на одной из стадий развития зародыша! Чапек просто приблизил размер саламандр к человеческому, поселил их в море, а на суше поставил на хвост, превратив в этаких человеко-ящеров.

Еще извивающаяся саламандра с задранными лапками напоминает... свастику, а бессчетные толпы таких саламандр — массовые фашистские мероприятия. И Чапек всячески подчеркивает значение этих ритуальных танцев для популяции саламандр.

В сумме образуется нечто вроде того, что переживший Гражданскую войну в России поэт Максимилиан Волошин окрестил «демонами глухонемыми» войн и социальных потрясений.

Книга «Война с саламандрами», конечно же, типичная антиутопия с некоторыми признаками памфлета или фельетона — жанра, к которому Карел Чапек был в наибольшей степени расположен. Достаточно вспомнить его послужной список.

Славу тридцатилетнему Чапеку принесла пьеса «Р.У.Р.», название которой не имеет отношения к Рурскому индустриальному району Германии и расшифровывается как «Россумские универсальные роботы». Это Карел Чапек в соавторстве с братом Йозефом (кстати, погибшим в нацистском концлагере, чего брат Карел избежал) ввел в оборот современной научной фантастики словечко «робот» (от всем понятного «роботник/работник»), а также новаторский сюжет о восстании машин против своих создателей — золотая жила для только набиравшего силу кино! Об атомном (нуклеарном) ядерном оружии он писал за двадцать лет до его изобретения. Он получил философское образование в университетах Праги, Парижа и Берлина и обладал широким кругозором, что не столь уж характерно для обитателя небольшой страны.

Чапек был озабочен идеей Европы как особой цивилизации, из которой центральноевропейские интеллектуалы сотворили культ, но при этом он являлся трезвым и ироничным наблюдателем. Журналистская работа не позволяла ему чересчур уж воспарить и превратиться в официального идеолога Чехословацкой республики. Но она же пропитала его художественные произведения чрезмерной публицистичностью, а также фельетонностью, кабареетностью, фантазийностью и коллажностью. Ничего не попишешь: Mittel Europa — здесь всё немножко... скучновато и не всерьез, поскольку судьбоносные решения принимаются за ее пределами. Отсюда личное знакомство и ученичество Чапека у британцев — Бернарда Шоу и Герберта Уэллса («Война с саламандрами», 1936), его переклички «поверх барьеров» с

Марком Твенем («Письма из Италии» и «Письма из Англии», 1923-1924; «Прогулки к испанцам», «Открытки из Голландии» и проч.), с нашими социальными фантастами А. Толстым и Беляевым («Фабрика Абсолюта» и «Средство Макропулоса», 1922; «Кракатит», 1924), с французским экзистенциалистом Камю и абсурдистом Ионеско (его «Белая болезнь» и «Война с саламандрами» написаны задолго до «Чумы» и «Носорогов»).

Трудное межвоенное благополучие было пропитано катастрофизмом, и Карел Чапек являлся одним из немногих в Европе «ретрансляторов» неблагополучия, одним из литераторов-первопроходцев. Именно эта погруженность в глубинную проблематику своего века спасает творчество Чапека и его главную книгу «Война с саламандрами» от забвения, поскольку художественные ее достоинства, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Только глубина погружения обеспечивает защиту от времени — и в этом time proof всякого искусства.

Фактически Чапек в «Войне с саламандрами» производит в художественной форме лабораторный эксперимент над человечеством. Что будет, если?..

Так ли уж фантастична борьба за полноправие саламандр, если известно, что шимпанзе способны объясняться с людьми на языке жестов на уровне трех-пятилетних детей? Так, может, предоставить приматам избирательные права и ввести обязательное школьное образование? Или такой пассаж: «Саламандры — это множественность, их эпохальная заслуга, что их так много», — не о современных ли китайцах речь, да простят меня китайцы? О Китае, кстати, у Чапека тоже есть: «После этого конференция в несколько подавленном настроении перешла к обсуждению нового предложения: уступить саламандрам для затопления центральные области Китая; взамен этого саламандры должны на вечные времена гарантировать неприкосновенность берегов европейских государств и их колоний», — вам это ничего не напоминает??

Увы, речь стоит вести о природе человека! Об алчности, об интересах корпораций, по сравнению с которыми саламандры с их нравами — сущие дети! О самом холодном из всех чудовищ — государстве (по выражению философа Гоббса в его трактате «Левиафан»). Все в мире развивается по неумолимым законам драматургии. Если персонажи таковы и не способны быть другими, неизбежны такие-то и такие-то конфликты между ними, что приведет, не мытьем так катаньем, к такой-то развязке.

Чудесно, что Чехия, как и Швейцария, не имеет выхода к морю и старается соблюсти нейтралитет, потому что: «Кто-нибудь же должен оставаться нейтральным, чтобы поставлять другим оружие и все такое!» Чешский обыватель пан Повондра с воодушевлением восклицает: «Это ведь замечательно выгодно, что у нас нет никаких морей. Кто нынче морями владеет — несчастный тот человек!» Но вот он берет удочку и идет с сыном половить рыбку с моста над Влтавой — а из воды вдруг выныривает саламандра с плоской головой и изучающе на него глядит. Сматывай удочки, Повондра!

Сатирик и фантаст, прагматик и агностик, миролюбивый и чудаковатый человек, Карел Чапек с ужасом начинает сознавать в середине 1930-х годов, что его благополучный идейный пацифизм ни на что не годен — и мир обречен.

По пражской легенде, за неделю до смерти он, неверующий, всю ночь провел в выстуженном соборе Святого Вита и истово молился, в результате чего заболел воспалением легких, которое и свело его в могилу в день католического Рождества — 25 декабря 1938 года. За два с половиной месяца до вступления армии саламандр в сдавшуюся на милость победителей Прагу. ■